

Анна АРНО  
(1953–1997)

**Перевод Екатерины Симоновой**

*Анна Арно родилась и выросла в г. Биддефорд, штат Мэн. Окончила Хантерский колледж. Многие годы жила во Франции. Стихи начала писать в 20 лет под влиянием поэзии Элизабет Бишоп. Книги: «Отражение Анны» (1983), «Освобождение, только похожее на любовь» (1990), «Наши невидящие глаза» (1997, вышла уже после смерти поэта).*

**ПРОШЛОЕ НАКОНЕЦ СТАЛО МНОЙ**

**Моя мать**

Моя мать была красавицей. Так говорили все, кто ее видел.  
Так сказала моя бабушка, когда впервые меня увидела.  
Мне было семь, мы приехали к бабушке в ее большой дом,  
Полный мертвых мужей, мертвых цветов,  
Оленьих голов на стенах, чучел хорьков и лис,  
Блеска мертвенных глаз в бриллиантах ее серег.  
«Вот, Анна, твоя бабушка, поздоровайся с ней», –  
Сказала моя мать таким мягким голосом, какого я у нее никогда не слышала.  
Помню ее ледяные, в момент окостеневшие пальцы,  
Больно сжавшие мое плечо, как будто я была птицей,  
Которую она поймала, хотя я даже не думала улететь.  
Бабушка подошла ко мне, ухватила меня за подбородок  
Двумя пальцами, такими же холодными, как у матери,  
Сказала мне прямо в лицо, пожевав накрашенными длинными губами:  
«Странно. Ведь твоя мать – красавица». Вытерла пальцы платком.  
Больше она со мной не разговаривала.  
В тот момент моя мать показалась мне птицей,  
Которую поймала моя бабушка:  
Медленно гаснущий блеск глаз,  
Птичья когтистая лапка, выпустившая мое плечо,  
Как ненужную ветку, несъедобный плод.

**Моя последняя вышивка**

После смерти матери тетка Лиз научила меня вышивать.  
Я так и не заплакала – просто вышила слезы на материнской любимой кофте  
Самой голубой ниткой, какую смогла найти.  
Но не смогла на этом остановиться, стала вышивать себе новую жизнь.  
Я вышила на своем свитере два серебристых крыла чайки –  
В школе долго смеялись надо мной, хотели их оторвать,  
Курица ты, говорили, а не чайка, ощиплю тебя, выпотрошим, съедем.  
Я вышила для тетки Лиз скатерть – она убрала полотно в шкаф.

В первый раз и в последний скатерть доставали на ее поминки:  
Помню куриные крылышки в кокосовой стружке,  
Кузину, бледную, обсасывающую нежную косточку, всем, как всегда,  
недовольную.

Я вышила море на занавеске в своей комнате,  
Пока вышивала, мечтала: вырасту, уеду и больше никогда не увижу море.  
Вышила и стала видеть море каждый вечер, когда задергивала перед сном окно.  
Я вышила первую букву отцовского имени на всех его носовых платках,  
Он даже не заметил. Приходил домой поздно, уходил рано,  
Казался самой бледной ниткой в узоре моей жизни.  
Я вышила на салфетке рыб, краба, морскую звезду, по углам – витые красные  
раковины,

Положила ее на комод в гостиной, поставила на нее фото матери.  
Это был единственный раз, когда отец все-таки посмотрел на меня, дал пощечину.  
Тогда я почувствовала, как печаль вонзилась мне в сердце,  
Как иголка в бархатную ветхую подушечку: ткань лопнула, починить невозможно.  
Я тогда ничего не сказала, как ни странно, я его понимала.  
Сделала свою последнюю вышивку – на рукаве той самой маминой кофты:  
Еще одну – самую маленькую – слезу.

### **Чему она меня действительно научила**

Первое, что я увидела, когда увидела ее впервые – это ее голос.  
Его было нельзя не увидеть – густой и темный,  
Вьющийся кольцами, как ее волосы,  
В которые захотелось прямо сейчас и здесь запустить пальцы,  
Оттянуть голову назад, прижаться губами к беззащитным ключицам –  
Правой, затем левой, потом провести языком по шее.  
Никогда я так не любила средневековую французскую литературу,  
Как в те два семестра, когда слушала ее голос,  
Похожий на все сразу: на Персевалея, ищущего собаку прекрасной девы,  
На прекрасную деву со сбитым дыханьем, со слезами кудрей,  
На босых кармелиток, молящихся в грозу, то шепчущих, то восклицающих,  
На взгляд Изольды, видящей черный парус и все равно  
Просящей служанку сказать, какого цвета паруса на корабле.  
Она проходила мимо меня в коридоре, густая, темная, безразличная,  
Не моя, как вино, вытекающее из разбитой бутылки.  
Иногда, когда становилось невыносимо, я шла за ней до дома, стояла в тени,  
Глядя, как зажигается свет в комнатах на третьем этаже,  
Как к ней приходит разносчик пиццы, соседи, ее Подруга,  
Представляла, как Подруга запускает пальцы в ее волосы,  
Змеящиеся как у Медузы, обвивающие руки Подруги,  
Как Подруга присасывается своим узким безгубым ртом  
К венам на шее, похожим на пожарную лестницу на ее третий этаж.  
Кажется, никогда я не была так близка к сумасшествию,  
Как в те два семестра – глупый соловей с розовым шипом –  
Не в сердце, нет, ниже, там, между ног, беспощадно и сладостно,  
Даже спустя много лет я стыжусь говорить об этом.  
Однажды, когда она опять проходила мимо, моя голова закружилась,  
Ноги перестали слушаться, кажется, я упала, кажется,  
Она помогла мне подняться, кажется, коснулась моего бедра –

Я почувствовала, как розовый шип моего смущения  
Вонзился мне в кожу чуть ниже паха. Я взяла ее за руку, впервые  
Посмотрела ей прямо в глаза, цвет которых я так и не смогла назвать,  
Она посмотрела на меня впервые, покраснела, отняла руку,  
Сказала: «Будьте осторожнее, берегите себя», но было поздно –  
Розовые шипы впились в мое тело везде, тогда я впервые поняла:  
Больше всего болит, не отпускает, кровоточит то,  
Что не случилось и уже не случится.

## Бегун Билл

Осень была такой холодной, что мне постоянно хотелось спать.  
Но каждый день после уроков мы встречались на школьном стадионе:  
Я, Елена, Надин и Лив. У Лив была ровная белая кожа,  
Ровные зубы, ровные ноги, ровно подрезанные русые волосы.  
Она лучше всех нас смотрелась в красном большом пуховике,  
Которые тогда были в моде. Где-то неподалеку всегда сидел Билл,  
Влюбленный в Лив. Зубы у него находили один на другой,  
Волосы казались мокрой соломой, лицо – красным большим пуховиком.  
Мы смеялись, ели леденцы, сплетничали,  
Грели ладони друг друга леденцовым дыханием,  
Билл молча сидел неподалеку, мял в руках шапку,  
Как будто пытался вылепить из нее что-то красивое –  
Спящую птицу, черную жемчужину, ночное небо – то, что могло бы понравиться

Лив.

Однажды Лив повернулась к Биллу и сказала,  
Играя блестящими глазами, ровными зубами, ясным лицом:  
«Пробежишь десять кругов – поцелую». И Билл побежал.  
Первые три круга мы смеялись, пели на четыре голоса «Давай, Билл, поднажми!»,  
Посылали ему воздушные поцелуи. Волосы Билла быстро намокли и потемнели,  
Прилипли к бугристому прыщавому лбу. Билл бежал и бежал,  
Хватаясь за левый бок, за правый бок, утирая пот со лба,  
Билл бежал все медленнее, но не останавливался.  
Елена закричала первой: «Хватит, Билл, хватит, дурак».  
Но Лив все смеялась и смеялась, и Билл бежал.  
На восьмом круге он споткнулся и упал. Вызвали скорую.  
Кажется, что-то с сердцем, или с легкими, или что-то еще.  
Но Лив все равно смеялась, показывая ровные зубы.

Билла больше не видели ни в школе, ни на стадионе, ни в нашем районе.  
Он умер от передоза в восемьдесят восьмом – молча, все с тем же красным лицом,  
Похожим на пуховик, к тому времени – помятым, щетинистым,  
Будто дешевая ткань в катышках. «Бегун Билл помер», –  
Сказала мне тетка Лиз, когда я в очередной раз позвонила узнать, как дела.  
Последние двадцать лет жизни Билла звали только «Бегун Билл»,  
Хотя больше никто и никогда не видел его бегущим.  
Когда я вернулась в Биддефорд, как-то вечером  
Пробралась, как в детстве, на тот стадион, сняла куртку, красную, тоже как в  
детстве,  
И побежала. «Давай, Анна, поднажми!» – как будто откуда-то сбоку кричала

Я сама себе из прошлого, такая жестокая, такая сильная, как будто  
Рядом со мной маленькой смеялась ты, такая нежная, такая взрослая.  
Тогда я наконец заставила себя остановиться – я поняла:

Ты все равно никогда меня не поцелуешь.

## Будущее

Я зашла в свой старый дом, чтобы остаться в нем навсегда.  
Все было здесь так, как я когда-то запомнила:  
Пачка пожелтевших, слипшихся от старости газет на рассохшейся этажерке,  
Облезлая львиная голова с кольцом в пасти – вместо дверной ручки,  
Лицо матери, лежащее в верхнем ящике комода –  
Поблекшее, расплывшееся, как лицо любой матери,  
Слишком надолго оставшейся в одиночестве.  
Я прижалась щекой к стене, надеясь,  
Что это напомнит мне о чем-то хорошем:  
Сияющем снеге, рождественской чашке какао,  
Тетке Лиз, замерзшей, румяной, стучащей в двери,  
Кричащей: «Открывайте быстрее, сколько мне еще вас ждать?»  
Но обои пахли слезами и пылью, тем, что остается от печали,  
Когда печаль уходит, а надежда не возвращается.  
Тем самым рождественским вечером, много лет назад,  
После долгого счастливого дня,  
Тетка Лиз стояла у камина, пила свой невкусный виски,  
Тихо говорила, глядя на тени пламени:  
«Каждый человек умирает там, где и рождается».  
Я притаилась за дверью, не дышала, дрожала, впитывала каждое ее слово,  
Которое не могла понять и не смогла забыть.  
Почти тридцать лет спустя я стою на том же самом месте,  
Пью такой же невкусный виски, наконец понимаю:  
Человек умирает там же, где и родился – внутри себя самого.  
Я наконец пришла туда, откуда уже не выйти –  
Запертую комнату моего разума, забытый храм моего тела.  
Я закрыла глаза. Я наконец могла быть спокойна:  
Прошлое наконец перестало меня тревожить, поскольку  
Прошлое наконец стало мной.